



ВИТАЛИЙ ЛЕХЦИЕР

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ОШИБКИ, ИЛИ ЧТО ЗНАЧИТ ОБЩАТЬСЯ С ВЕЩАМИ

№24 1997

Мои заметки носят характер реплики в той полемике, которая развернулась на страницах "Цирка "Олимп" прежде всего между Александром Улановым (начиная со статьи "Зеркала", N 17, 1996, практически тавтологично воспроизведенной в ряде последующих его статей) и Александром Ожигановым (см. "Предопределение поэзии-2", N 19, 1996). Неудобно, конечно, ввязываться в чужой спор, если бы не та настойчивость, с которой автор "Зеркал" стремится доказать свою точку зрения. Забавней всего, что полемика эта уже перешла в плоскость разговоров "за жизнь", в выяснение того, кто живет, а кто выживает, кто радуется, а кто жалуется. Сами по себе эти выяснения далеки от действительных проблем художественного, так как очевидно ведь, что стихи возможны и в первом случае, и во втором (художественное дышит, где хочет), так что к таким разговорам можно было бы и не относиться всерьез. Если б опять-таки не одно обстоятельство. И именно оно послужило для меня основным побуждением вставить реплику. Это обстоятельство связано с тем, что в современном искусстве (искусстве 20-го века), необычайно богатом и подходящем для разного рода равноправных и одинаково интересных концептуальных, интерпретирующих ходов, есть и такая стратегия интерпретации, которая связана с двумя типами онтологии - гераклитовской и элеатской. То есть соответственно с двумя установками на отношение к вещи: вещи как потоку и вещи как персоне, личности.

Эта оппозиция часто толкуется как оппозиция бытия и становления или идентичности и неидентичности. $A=A$, этот закон тождества, еще 80 лет назад звучавший как "прекрасная поэтическая тема" (Мандельштам), сегодня звучит, как шумовые помехи в эфире. Хосе Ортега писал: "Элеатизм был радикальной интеллектуализацией бытия, и необходимо срочно выйти за пределы магического круга, начертанного элеатизмом... Единственное определенное и устойчивое, что есть в свободном бытии, - это его конститутивная нестабильность". Так вот особенно в последнее время гераклитовский тип онтологии, ориентации на "конститутивную нестабильность" вещи становится предпочтительней элеатской (причины этого процесса я здесь не обсуждаю). И статьи Уланова, их известная бескомпромиссность тому наглядное (наше местечковое) подтверждение. Но суть в том, что он сам не отдает себе в этом отчета. Потому что либо по недоразумению, либо по соображениям принципиальным, но все же перепутал два разных феномена: предметность и бытописание.

Если бы он отдавал себе отчет в этом, то вряд ли стал бы так серьезно обвинять поэзию, скажем, М. Азенберга и С. Гандлевского в "бытописательстве", "повествовательности", "прямом назывании", "зеркальности", "обыденщине", "перестраховочности", "реализме" и т. п., потому что то, что он неизвестно на каких основаниях называет бытописанием есть просто-напросто предметность литературы, устойчивый ряд более или менее идентичных предметов, втянутых в экзистенцию человека и являющихся ее непременными составляющими. Бытописание - термин оценочный. Что он выражает по существу? Если - установку на протокольное описание, то есть регистрацию быта (хотя и такой прием нарочитой инвентаризации широко используется в новейшей литературе), то обращайтесь, пожалуйста, к Гаршину, Золя, братьям Гонкур и иже с ними, но причем тут Азенберг и Гандлевский? Разве можно так близко к сердцу принимать некоторые из их собственных высказываний о самих себе? Уж если выясняется, что и Чехов не был описывал и не только крынку молока любил, как высказывался о нем Анненский, а бытие прозревал, точнее бытие и Ничто, то что же говорить о поэзии этих авторов? "Что нам дано?// Это как сказать, что нам дано.// Угол дождя, плащевая ткань, комнатное тепло.// Кто-то сказал, что стена есть дверь.// А моя стена есть окно.// И не зашторено треснувшее стекло." (М.Айзенберг). Это ли "бытописание"? "Прямое называние"? Меньше всего! Это, во-первых, живая поэтическая речь, во-вторых, полноценное экзистенциальное переживание своей идентичности, своего присутствия в бытии и присутствия бытия одновременно, переживание-общение с тем, что тебе "дано" (но что или еще не обжито, или с чем еще нужно "впервые" познакомиться), с вещами, на которые ты обречен и т. д., и т. д. Да, здесь "тепло" есть "тепло", "угол дождя" есть "угол дождя". Но странно, что будучи названными, они не "опрощают", не сужают смысловой объем стиха, наоборот, каким-то непонятным образом его раздвигают, делают неуловимым! Только вещи и могут быть неоднозначными и непонятными! Кроме того здесь почти незаметно, но демонстративно происходит "остранение": "А моя стена есть окно"...

Я не хочу разворачивать всей проблемы (тем более кого-то защищать, кто, разумеется, не нуждается ни в какой защите), как и детально касаться всех вопросов, затрагиваемых в "Зеркала", например, концептуальной и конкретистской практики и теории. Скажу только, что и у Вс. Некрасова тоже нет ни грамма бытописательства (или "словописательства", то есть элементарной фиксации, как в словаре, существующего состояния языка). Как можно извечное расширение границ художественного, в частности и до простой разговорной речи, до непосредственных, до художественных очевидностей, до момента рождения всякой мысли (а вряд ли он отличен от момента рождения речи), только осуществляемое с разной степенью радикальности, - как можно это принять за какую-то "зеркальность", прими-

тивную отражательность? Если уж это и "зеркальность" то, скорее, по ту, а не по эту сторону зеркала. Некрасовское языковое зазеркалье - как раз область "создания новых смыслов" практически из ничего, это как бы остраивающая перекодировка языка, психотерапевтическое превращение его недостатков в достоинства, поворот его тыльной, незасаленной стороной.

Одна и та же фраза в разных устах может звучать по-разному. Зеркальность и зазеркалье похожи только при взгляде в давно непротираемые очки. Но это - совсем отдельная тема. Я же хочу сделать акцент не на проблеме языка, а на проблеме вещи, хотя и, безусловно, связанной и с первой. Обвинения Уланова серьезны. Однозначность, отсутствие новых смыслов, прямо-таки ходульная повествовательность, легкость выполнения - в общем какая-то профанация, а не поэзия. Конечно, каждый выбирает по своему вкусу: кто А. Драгомощенко, а кто М.Айзенберга. Но дело в том, что вкусы-то вкусами, а бросать такие обвинения, основываясь на ошибке, на неразличении бытописательства и предметности - некорректно. Уланов считает, что полноценное общение с миром возможно только тогда, когда вещи "начинают перетекать и превращаться друг в друга самым неожиданным образом". Это он называет "воссозданием ассоциаций", вызываемых предметом. Точно также должны и слова течь друг сквозь друга, поэзия - это "сквозной полет каждого слова сквозь каждое" (А. Драгомощенко). Только в этом случае, нам говорят, возможно приращение смысла и текст до конца не понятен. Только это и есть настоящий диалог с миром и языком... Прекрасно! Но с той лишь поправкой, что такой подход, во-первых, неединственен, он лишь выражение одной из онтологических установок, а именно гераклитовской (исконно, древневосточной): "все течет, все изменяется". Во-вторых, и это можно доказать, именно его реализация намного легче той, которую так критикует Уланов. Прозревать изменчивость проще, чем устойчивости. Достаточно только отключить внутреннюю контролируемую инстанцию, отделиться от потока сознания, короче, писать без отбора почти все, что приходит в голову. Я категорически против апелляции в данном случае к позднему Мандельштаму, к его сюрреалистическим образам, только на первый взгляд кажущимся совершенно алогичными - и "близорукое небо" и "клейкая клятва", и "волосная музыка воды" хранят в себе и возможность некоторого предметного прочтения (большей частью основанного на скрытых цитатах, отчасти уже прокомментированных, и имеющих под собой "чувственную, осязательную" почву ассоциаций, а потому внутренне логичного). Характерно, что, например, Ю.Терапиано применительно к циклу стихов об Армении, откуда приведены эти цитаты, говорит следующее: "Мандельштам погряз в описательно-изобразительной форме, становясь слишком декоративным". Неважно, что эти образы трудно прочтываемы, важно что они внутренне оправданы. Мандельштам отличал поэзию от "брёда воспаленной головы". Да, и у него есть образцы совершенно сюрреальной, явно "воспаленной", заумной речи - но ведь такая речь как раз и была порождена стремлением сохраниться, выжить на фоне "глухоты паучей", с одной стороны, предельно выражая (уж, боюсь, не будет ли это "реализмом" и "зеркальностью") болезненную мутацию умирающего века, а с другой стороны, противостоя его парадной "железной правде". Хотя даже и в таких примерах Мандельштам все равно окончательно не устраняет "называние" и предметность. "Ткань, опьяненная собой", своей идентичностью остается у него до самого последнего стихотворения.

Приращение смысла основано на сдвиге, на преодолении миметичности, - с этим, я думаю, сторонник "текучести" не будет спорить. Но сдвиг - это же не "сдвиг по фазе". Сдвиг знает диалектику идентичного и неидентичного, называния прямого и косвенного. Да и с самим "прямым называнием" не все так просто. Вот Мерло-Понти пишет о больших с амнезией названий цветов: "Ибо назвать вещь - значит оторваться от ее индивидуальных и уникальных характеристик, увидеть ее как представляющую сущность или категорию, а тот факт, что большой не может наименовать образцы, является знаком не того, что он утратил словесный образ слов "красный" или "голубой", но что он утратил общую возможность подводить чувственные данные под категорию, что он скатился с категориального к конкретному взгляду на вещи". Что и делает поэзия успешно с помощью косвенных (метафорических) названий, умалчивания поэтики загадки и т. д. Однако она к этому не сводится! Знание общих понятий (например, "стол") несколько не препятствует моему общению с ним как с индивидуальностью, а только дополняет и обогащает его. (Иначе опять темный и неуклюжий "лес ассоциаций"). Иначе снова "горизонты вертикальные в шоколадных небесах", хотя и имеющие другую мотивировку). Полная амнезия - это все-таки болезнь. Более того, ведь ничто не мешает понимать способность вещи становиться в общий ряд себе подобных как еще одну замечательную ее, конкретную способность, и значит "стольность" вот этого, конкретного стола - одна из парадоксальных характеристик его уникальности и индивидуальности. Кроме того ведь названные вещи, но поставленные в непривычные ряды, контексты, соотношения гораздо шире, объемнее своих названий, не уместаются в них. Контекст в данном случае создает относительность названий, смещает их закреплённость за вещами, сдвигает "обобщенность" в сторону индивидуального, и нельзя этого не учитывать! Очень странно, не правда ли, что слова, "сшибаясь", с точки зрения критика "бытописательства", обязательно рассказывают автору именно о текущем бытии, а не о вещах как таковых. Откуда же автор заранее знает, что расскажут ему сло-